

МАРК ХАРИТОНОВ

СТЕНОГРАФИЯ НОВОГО ВЕКА

Больше полвека назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий интересно. Показалось, что некоторые записи могут оказаться интересными и для других. Часть их, за 1975—1999 годы, я решил расшифровать, ввел в компьютер. Так возникла книга «Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».

Свою стенографию я продолжал и в новом тысячелетии. В 2011 году то же «НЛО» выпустило мою «Стенографию начала века. 2000—2009».

Стоит ли говорить, что я не перестану вести ее до сих пор? Это для меня не работа, а, если воспользоваться заглавием еще одной моей эссеистической книги, «Способ существования». Некоторые записи последнего времени я вновь решил предложить читателю, сгруппировав их вокруг заголовков и убрав даты.

ВИДЕНИЕ БАРАТЫНСКОГО

Размышлял о новом чувстве реальности, о соблазне уйти от нее — и вспомнил давнее стихотворение Баратынского «Последняя смерть».

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье. <...>
...Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

И вот поэт увидел «без покрова / Последнюю судьбу всего живого». Вначале ему открылось торжество разума: «Везде искусств, обилия приметы». Он увидел даже летательные аппараты.

Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещение!

Однако «прошли века», и взору открылось другое видение:

Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На всѣ они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах... <...>
...И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие...

Живописуется что-то вроде торжества виртуальной реальности — хотя во времена, когда это писалось, такого понятия не существовало.

...И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крыльях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Вдруг сопоставилось с записанным мной время назад суждением Сергея Хоружего: «Уход в виртуальную реальность чреват мягкой гибелью типа эвтаназии».

Прошли века, и тут моим очам
Открылась ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалась живущего судьбина.
Где люди? где? скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали...

Неожиданная переключка! «Человек не понимает себя, не справляется с собой. Антропологическая ситуация тяготеет к сценариям гибели», — писал Хоружий. По-иному прочитываются поэтические видения двухсотлетней давности. Назвать ли их прозрениями? Поэт, опережая позднейшие фантазии (еще не опыт), интуитивно ощущал опасность ухода от реальности, ее подмены.

«ИММАНЕНТНЫЕ КАЧЕСТВА»

Сколько всякого успели наговорить про нашумевший танцевально-песенный аттракцион в Храме Христа Спасителя! Не столько художественные достоинства, сколько жандармская реакция властей сделала эту акцию социальным явлением, а смелых молодых женщин — мировыми знаменитостями.

Мне сейчас вспомнилось, как группа «искусствоведов и художников» назвала это выступление «невероятно мощным произведением активистского искусства». «Современное искусство, — объясняли они, — по природе своей — публичное высказывание о современности. Качество произведения искусства заключено не в нем самом, но в его силе, влиятельности, в общественной реакции на него». Будь то вызывающая надпись с примитивным рисунком на заборе или тот же увеличенный рисунок на разводном мосту.

Писатель Д. Д., комментировавший это высказывание, назвал его самоочевидным. «Нет имманентных (то есть внутренне присущих) качеств, которые помогли бы распознать, „искусство“ перед нами или „не искусство“. Многие портреты и пейзажи, которые недорого продаются на Крымской набережной, — формально весьма высокого качества, достойны кисти Кипренского или Поленова. Но беда в том, что их нынешние авторы опоздали

на 100 или 200 лет. Искусство — это всегда прорыв, пощечина общественному вкусу».

Приходится заново разбираться в азбучных, казалось бы, вопросах. Добросовестные поставщики рыночной продукции повторяют достижения столетней давности в меру способностей, к ним так и относятся, так и платят, в зависимости от уровня. Антикварные подделки специалисты умеют отличить от подлинника, есть критерии. Известны разного рода явления, течения, заявлявшие о своем прорыве скандалом.

Но Бах, Рублев, Шекспир не только никаких скандалов не вызывали, они по-настоящему не были при жизни даже замечены, достойно оценены. Их современников, писавших музыку, иконы, драмы, замечали и отмечали куда больше — попробуй объяснить почему. Чтобы понять, признать прорывы не сразу доступного уровня, иной раз требуется время, и немалое. Что-то вместе со временем уходит, что-то навсегда остается.

Так, может, все-таки существуют «имманентные качества», позволяющие отличить имитацию от подлинного искусства, скандальные подделки от художественного открытия? Есть ведь еще такие элементарные понятия, как мастерство, или, скажем, профессиональное владение инструментом, или достоинства голоса... Нет, не начинать же всерьез лекцию о вещах, еще недавно казавшихся очевидными. Культура не может не меняться, мы чувствуем перемены каждый день на себе, и развитие ускоряется непредсказуемо. Новые технические возможности порождают не просто новые искусства — новый взгляд на мир, новое ощущение мира. А заодно и теоретизирования на темы новой, современной эстетики, отменившей разницу между высоким и низким, когда хорошо поставленный голос отодвинут микрофоном в разряд антиквариата, а фотоаппарат с электронными усовершенствованиями все больше делает излишней живопись...

Пробую представить себе, как новые эстеты по вечерам с искренним наслаждением вновь и вновь прокручивают на своих дисплеях кадры «невероятно мощного произведения» (неслаженное вскидывание ног, неразборчивые слова), перечитывают, пересматривают репродукции заборных произведений. Новые пощечины предлагают себя чуть ли не каждый день. То художник станет прибавить гвоздем свою мошонку на Красной площади, то какой-то смельчак залезет на шпиль сталинской высотки, чтобы сделать золоченую звезду на нем «жовто-блакитной». Впрочем, поступок верхолаза эксперты, поразмыслив, решили назвать все-таки не «искусством акционизма», а скорей политической акцией. Хотя в чем разница?

Действительно ли не стало (а может, никогда и не было) критериев, позволяющих «распознать, искусство перед нами или не искусство»? Не могу отделаться от подозрения, что больше всего нынешние эстеты упиваются собственными интеллектуальными конструкциями. В своем приватном быту они прекрасно умеют отличить напиток, называемый вином, от настоящего, выдержанного, марочного, тем более коллекционного вина. Хотя примитивный напиток утоляет жажду не хуже, и опьянить он может даже почище. Уважающий себя ценитель бурду просто не станет пить. Ему почему-то важен букет.

Для меня речь не просто об искусстве. Приходится напоминать хотя бы себе, что есть все-таки разное качество жизни. Как есть люди разного уровня, разных интеллектуальных, художественных достоинств, способностей. Что искусство, литература, которые мы по традиции (сейчас, возможно, сказали бы: по умолчанию) называем высокими, служат поддержанию высокого человеческого уровня, высокого качества жизни. Что человек высокой культуры больше в жизни понимает, знает, чувствует. Во всяком случае иначе ее понимает и чувствует. Он заполняет жизнь творчеством, чтобы не дать разрастись пустоте. И стараясь не допускать подмен — они бывают не безобидны.

О НЕБЕ НАД ГОЛОВОЙ

Читал в «Знамени» большой цикл Тимура Кибирова «Пейзажная лирика» — не мог отделаться от тягостного ощущения:

«На лоне природы / Штук десять уродов, / Штук семь или восемь крикливых блядей. / Музон громыхает. / Они отдыхают / На лоне злосчастной природы моей»; «Под вечер сырой и мгlistый / Компания бродит старух. / Издалека — живописны, / Вблизи — просто *dance macabre*... / В их лапках листья пылают, / В их глазках стоит вода»; «Мгла промозглая, роща злоеущая, / Мерзопакостный мелкий снежок»; «Ноздреватый, угреватый / Снег цинично обнажил / Все какашки и бумажки, / Мусорки и гаражи»...

Цитировать можно страницами. Мастеровитый, заслуженно успешный поэт — действительно ли он так воспринимает мир? Конечно, говорил я себе, и к противоположному мироощущению необходима поправка. «Пускай Художник, паразит, / другой пейзаж изобразит». (Юмор — тоже поправка. Поправка может быть в повороте взгляда, в интонации.) Жизненную правду не оспоришь. Но когда перед тобой не единичное стихотворение среди прочих, возникает, право, чувство какой-то безоговорочности, тотальности. Есть ли в этом мире небо над головой?

Взял перечитывать любимую «Деревушку» Фолкнера, гениальную главу о любви бедного идиота к корове:

«Он не издал ни звука, когда они все трое полетели по сыпучему откосу на дно, куда конь упал на все четыре ноги и, не останавливаясь, поскакал дальше по дну оврага, а он, упав под корову, которая мычала и лягалась, почувствовал, как его заливают навозная жижа. Наверху последний язычок пламени лизнул край оврага, съезжился, угас и бледным дымным язычком взвился к ясному солнечному небу... Когда он сделал к ней шаг, она шарахнулась от него и ринулась вверх по обрушенному склону, оскользаясь на зыбком, словно сыпучем песке, словно в припадке слепого стыда, стремясь убежать не только от него, но и от того места, где... она опозорилась по природной своей слабости, а он тащился следом, уговаривая ее, пытаясь ей объяснить, что никто не осудит ее за такое грубое нарушение приличий, потому что это непоколебимый закон извечного естества».

Вот мое ощущение жизни. А ведь речь не о чем-нибудь — о навозной жиже, веществе отнюдь не благоуханном. Я люблю вспоминать индийскую легенду о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

А потом еще вспомнился Ходасевич:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.

За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?

О, эти строки, когда поэт бичом хлещет ангелов и просит безрукого бросить ему когда-нибудь перышко с прохладных райских высот, где он скорее всего окажется!

Или — очень близко — у Мандельштама:

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы — до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Великое стихотворение 1931 года. Поэт не морщится брезгливо, не смотрит свысока на этих людей — самому есть на что посетовать: «Ни лавров нет, ни вишен». Но: «Не просить, не жаловаться, цыц! / Не хныкать!» Жизнь — еще и это:

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт —
За карий глаз, за воробьиный хмель.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Злободневные воспоминания: мы шли с Асаром Эппелем по улице, я стал говорить, что современные технологии делают невозможным возврат к прошлому. Сейчас нельзя глушить радиопередачи, спутники распространяют сигнал по всему миру, Интернет не допускает цензуру, закрыть его нельзя. Асар усмехнулся: еще как можно. Популярно объяснил как, я не очень понял. Это было лет восемь-десять назад, он тогда понимал в Интернете больше меня. (Я и сейчас не вполне понимаю.)

А еще вспомнилось, как Вадим Сидур в своей подвальной мастерской слушал сквозь шум глушилок новости о событиях в Афганистане, потом сказал мне: «Все, Афганистан можно считать шестнадцатой советской республикой. Во что однажды вцепились, наши уже не отпустят». Оказалось, ошибся.

Все о том же. Рижские портативные приемники выпускались тогда без блока самых коротких волн, на которых еще можно было что-то услышать, мне вставили такой блок неофициально в мастерской, что была в проезде Художественного театра. На отдалении от Москвы глушение не мешало.

И опять же на злобу дня: вспомнился Крым. Мы несколько лет отдыхали там на Карадагской биостанции, звали к себе друзей. В 1974 году подъехали среди прочих участники августовской демонстрации 1968 года — Володя Дремлюга, который только что отбыл свой срок, Тата Баева, Вадик Делоне. Дремлюга на пляже слушал «Голос Америки», восхищался провалом путча греческих полковников на Кипре: «Диктатуры в конце концов всегда проигрывают». Потом он пошел плавать, в море его выловили двое сотрудников КГБ в плавках, вывели, увезли. Через несколько дней он вернулся: оказывается, он не зарегистрировался, как ему было положено, в Мелитополе.

Становится понятно, что происходит, знать бы, что делать. «Конгресс интеллигенции» публикует прекрасные заявления, молодые люди напоминают, что интеллигентами называют себя «зрелые» (как они осторожно выражаются) люди, им самим больше подходит название «постиндустриальных интеллектуалов». Ирина Прохорова добавляет, что заявлений, конечно, мало,

надо заниматься просветительской деятельностью, выступать и т. п. Тоже прекрасно. Я бы рад, не умею сам найти аудиторию.

На проспекте Сахарова митинг в защиту свободной прессы. Мрачные ожидания. Я думаю о возможности осмыслить исторический катаклизм, который так наглядно рифмуется с «началом некалендарного века» ровно сто лет назад — написать бы об этом на уровне Манделъштама. Ночью, когда просыпаюсь, иногда начинает казаться, что знаю, как написать, днем сижу — все улетучивается.

На прогулку в лесу я беру с собой том Манделъштама. Вспоминаю наизусть, останавливаюсь, читаю. «Кто время целовал в измученное темя...» Вот на таком уровне понять, ощутить бы происходящее. «Кто веку поднимал болезненные веки...» (В уме вертелось свое: «Век настоящий, не календарный / начинается ревом восторга». Вряд ли мне по силам достойно это передать.)

Иррациональный поворот истории еще полгода назад никто бы не мог предсказать, и все объяснения задним числом недостаточны. Возвращение к ушедшему, казалось, навсегда, подъем восторженных чувств на краю неминуемого, очевидного для меня обвала. Но не только заведомо чужие — близкие, казалось бы, люди одобряют происходящее. А ведь уже было, проверено историей. Нет. «Он слышит вечно шум, когда взрвели реки / времен обманных и глухих». Что ж, и нынешнее состояние не окончательно, мировое развитие очевидно — как течение реки с частными завихрениями. Но в этих завихрениях страдают, гибнут люди, народы, страны.

Кто-то вспоминал Андрея Белого. «Довольно: не жди, не надейся — / Рассейся, мой бедный народ!» Действует эмоционально, производит впечатление. Но дальше: «В пространство пади и разбейся / За годом мучительный год!» Что это такое? Или вот это: «Где в душу мне смотрят из ночи, / Поднявшись над сетью бугров <что такое сеть бугров?> / Жестокие, желтые очи / Безумных твоих кабаков». Кабаки — это, конечно, плохо. (Сам Белый, что говорить, выпивал, не в русских, так в немецких.) Но это? «Исчезни в пространстве, исчезни, / Россия, Россия моя». («Отчаяние», 1908, посвящено З. Гиппиус.)

Манделъштам знал больше. «Но пишущих машин простая сонатинка / Лишь тень сонат могучих тех» (1924).

Политическая тенденция в стране вроде определилась: подмораживание, попытка реставрировать, насколько возможно, Российскую империю, глядя больше на Восток, чем на Запад. Развитие современной экономики, науки откладывается, страна продолжает отставать от мира в самых важных областях. Чем это может обернуться, знают как будто все.

А потом вспоминается поверх логики: аномально холодное лето 1601 года, сплошные дожди, мороз летом, неурожай, эпидемии, голод — предпосылки Смутного времени — вызваны были, как поняли уже в наше время, извержением вулкана где-то в Южной Америке. Такое отмечалось не раз в мировой истории. Даже так называемое «осевое время» VIII—III тысячелетий до н. э., одновременный расцвет разных мировых цивилизаций связывают теперь с глобальным похолоданием. Какой там Гегель с его историческим разумом, Хлебников с его нумерлогией! Чижевский связывал политические катаклизмы с солнечными бурями. Тоже может быть, хотя проследить трудней. В любом случае, он не зря писал: «За редчайшими исключениями, во всей истории человечества мы не отыщем фактов ясного предвидения историческими лицами ближайшего будущего своих народов и государств или конечных резуль-

татов войн и революций. Исторические события, завершившись, всегда давали иные итоги, чем те, которые были предположены при их возникновении. Получалось как будто не то, к чему стремились или чего желали люди и целые общества» («Физические факторы исторического процесса». Калуга, 1924).

В «Facebook» ободряющее рассуждение: «Мы стали свидетелями „антропологического эксперимента“ большой мощности. Раньше мы только читали о таком „торжестве идеологии“. Мы знали это только по книгам о раннем фашизме, о „комсомольцах“ 30-х гг. Даже люди моего поколения не застали уже этой „машины по производству единства“ в действии. А быть свидетелем этого — это огромный экзистенциальный опыт. И мы его сейчас переживаем. Мы каждый день изумляемся, возмущаемся, ищем слова, самоопределяемся — и этого тоже не было больше 25 лет».

Как не вспомнить Игоря Губермана:

Сегодня приторно и пресно
В любом банановом раю,
И лишь в России интересно,
Поскольку бездны на краю.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Умер Бен Сарнов. Я вспомнил, как навевывался когда-то к нему в поисках материала о литературе 1920-х годов: мне это было нужно для работы над романом «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». У него многое тогда оставалось ненапечатанным. С собой он рукописей не давал, я часами сидел у него на диване, читал, он рядом, за столом, работал. Вот одна из тогдашних записей (не вошедшая в печатную «Стенографию конца века»):

13. 6. 84. Вечером заехал к Сарнову... Просидел у него до 11, читая первую часть работы о Зошенко. Много для меня интересного — я чувствовал, что «там ищут». Чтение постоянно перебивалось разговорами.

Рассказывал, как Коржавин однажды пришел, потрясенный книгой Надежды Яковлевны Мандельштам. Сам Мандельштам был «героем не его романа», хотя он и понимал его масштаб. «Замечательно! Я тебе скажу: никакого Мандельштама на самом деле не было. Это миф. Его сочинила Надежда Яковлевна».

Рассказ старой художницы о первых днях после отмены нэпа. «Вы теперь не можете представить, что это было! В магазинах раньше было все. Икра, балык, „Телиани“ — все. И вдруг за несколько дней всего этого не стало. В магазинах бычьи семенники. Было такое чувство, что конец всему».

«Людей старого типа, не своих, Сталин предпочитал использовать. Потому он и ходил 11 раз на „Дни Турбиных“. Ему нравились эти люди с погонями, которые в начале спектакля поют: „Так за царя, за родину, за веру“. А в финале этого хамского мхатовского спектакля они пели: „Так за Совет народных комиссаров“. А понадобится, споют и про Сталина. Чтобы выжить при Сталине своему, надо было превратиться совсем уж в мразь. С этими старыми большевиками было просто нечего делать. Чем им был интересен Алексей Толстой? Тем, что не свой».

О нем останется добрая память.

Неожиданно ушел из жизни Борис Дубин, важный для меня человек. Что-то вроде внутреннего диалога с ним у меня началось еще до нашего личного знакомства, когда в «Новой газете» (2005 год) мое внимание привлекло его интервью. Дубин говорил там о двух тенденциях в современной творческой среде России: «Или ты делаешь свой продукт, который хорошо продается, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли».

Помню, как подумалось: а ведь отчасти в мой адрес. Я был, что говорить, не из тех, кто «делает свой продукт, который хорошо продается». Скорей из тех, кто ощущал себя вне «массовой литературы», не говоря о «массовой политике». Но действительно ли одиночки вроде меня совсем не способны породить ничего принципиально нового? Вспомнился Теодор Адорно: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям».

Дубин, впрочем, дальше уточнял: «Культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот импульс».

Насчет «структур» я мог сказать меньше всего, был достаточно от них далек. Только подумал: а институт моего знакомого Левады, у которого я много лет назад выступал на философском семинаре и в котором Дубин теперь работал, — это одна из таких структур? Захотелось с ним поговорить о разном, что-то для себя уточнить.

Возможность мне представилась четыре года спустя. Получивший к тому времени известность альманах «Вторая навигация» собрал своих авторов на презентацию в Центре русского зарубежья. Мы с Дубиным оказались в их числе. Я, выступая, сказал, что мне, литератору, не культурологу и не философу, участие в альманахе позволило соприкоснуться с кругом идей, формирующих мироощущение, стимулирующих мысль. За несколько лет сложилось ядро более или менее постоянных авторов, среди них немало близких мне лично людей. В советское время мы с ними вели многочасовые беседы на темы, которые теперь обсуждаются печатно. Вспомнил о своих долгих беседах с Померанцем, о частных лекциях Кнабе. (В зале я как раз сидел между обоими.) Не знаю, сказал я, велик ли у альманаха тираж — какую роль для культуры может играть деятельность небольшого круга? И помянул зацепившие меня когда-то слова Дубина о бессилии художника-одиночки, о «структурных устройствах», спросил его про Левада-Центр.

Потом он подошел ко мне, сказал, что как раз считает этот свой Центр одним из устройств, способных порождать и поддерживать культурные импульсы. Подробностей разговора я тогда не записал. Мы обменялись телефонами, адресами.

Встретиться очередной раз нам довелось нескоро, в декабре 2010-го, на традиционном ежегодном вечере в издательстве «НЛО». Дубин ко мне подошел, подарил две свои книжки: «Классика, после и рядом» и «Россия нулевых», пригласил выступить на какой-то культурной конференции. Книги я начал читать уже в метро. Речь в них шла о роли рынка, премий, механизмах успеха, о массовой культуре, об упадке общего уровня. Это были размышления профессионального социолога, я тут мог себя чувствовать не более чем дилетантом.

Намеченная встреча тогда не состоялась. Борис мне потом объяснил, что долго болел, не ходил на работу, ему трудно было ездить. Общение некоторое время еще продолжалось по электронной почте. В марте 2013-го я увидел очередное интервью Дубина: он размышлял о катастрофическом состоянии

интеллигенции, о позорной неопределенности в отношении к Сталину, о равнодушии значительной части общества.

«Хорошее интервью, — написал я ему. — Вопрос, на кого оно должно произвести впечатление? Все вопросы и упреки приходится обращать к себе, вот беда».

Он тут же откликнулся: «Ну да, конечно, об этом и речь. Тем более что возможностей влиять на чувства, образы и мнения, что называется, народа ни у кого, кроме образованного сословия, как мы понимаем, не было: „советский человек“ — это ведь „советский интеллигент“, — кто же еще был в школах, библиотеках, музеях, редакциях, на радио и телевидении и проч.».

Встретились мы вскоре в знаменитом тогда среди московских интеллектуалов кафе «Билингва» (увы, уже исчезнувшем). На первом этаже там был книжный магазин, где устраивались чтения, презентации. Дубина там знали, к нему то и дело подходили, о чем-то спрашивали, приглашали, договаривались о выступлении. Мы расположились наверху, заказали пива, обменялись книгами. Борис подарил мне книгу Чеслава Милоша «Родная Европа» со своими переводами, я ему — двухтомник нашей переписки с Борисом Хазановым и свою «Стенографию начала века», где не раз упоминалось его имя. Посидели часа два. Борис рассказал, что он ушел из Левада-Центра, потому что устал — и потому что сказал в социологии все, что у него было. Я заметил, что последнее его интервью (в «Известиях», о новом интересе к книгам в России) — было все же на темы социологии. Он отмахнулся: это так, между прочим, разговоры по телефону, я их даже не читаю.

Некоторое время спустя я получил от него письмо. Он прочитал мою «Стенографию» и нашу переписку с Хазановым. «Может быть, — писал он, — по моему нынешнему новому положению „человека без службы“ мне были особенно значимы эти заинтересованные наблюдения, мнения и оценки самостоятельных частных лиц и крупных, но нимало не пыхающих этим писателей, которые никуда не „звуют“, ни к чему не „примыкают“ и не собираются никого „представлять“. Ваша „Стенография“ для меня, простите этот эготический поворот разговора, — важное зеркало двухтысячных лет, которое (без намерений автора, конечно) стоит под некоторым вполне осязаемым углом к тому, что сам я пытался, как мог, зафиксировать в книге „Россия нулевых“».

Мы встретились в том году еще. Правозащитному центру «Мемориал», где работал сын Дубина Антон, предложили зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», как и другим некоммерческим организациям, получающим деньги из-за рубежа. К ним стали приходить с обысками, налоговыми проверками, вызывать на допросы и т. п. — известные способы задушить независимые структуры. Знакомые музыканты устроили в поддержку «Мемориала» концерт, Борис пригласил нас с женой. Был я приглашен и на презентацию его книги «Порука. Стихи и переводы» в книжный магазин «У кентавра». К стыду своему, я до тех пор не знал, что Дубин в 1960-е годы не только писал стихи, но входил в известную тогда группу «Смог» («Союз молодых гениев»). Потом стихи писать перестал, но продолжал переводить с нескольких языков. На презентации он много и хорошо говорил о поэзии, о проблемах перевода, цитировал на память разных авторов. И стихи у него оказались прекрасные.

Последний раз мы встретились с ним в апреле 2014 г. у памятника Пушкину. Зашли в ближнее кафе, обменялись, как всегда, книжками, посидели за чашкой кофе. Я, помнится, не удержался, заговорил опять о тех самых «имманентных» качествах, которые позволяют распознавать подлинное искусство, независимо от восприятия искусства обществом, о цене успеха. От дискуссии Борис деликатно уклонился; он все-таки оставался социологом. Разговор, однако, имел продолжение.

Прочитав вскоре книгу Ханны Арендт «Вальтер Беньямин», которую Дубин подарил мне тогда в своем переводе, я тотчас ему написал: «Первая глава книги удивительно совпала с одной из тем нашего разговора: прижизненный успех и посмертная слава...» И дальше цитировал Арендт: «Посмертная слава — это, видимо, удел людей, выпадающих из рубрик, чьи труды не умещаются в установленный порядок, но и не порождают новой манеры на радость будущим классификаторам. Бесчисленные и провалившиеся все до одной попытки писать „под Кафку“ лишний раз подчеркнули неповторимость Кафки, абсолютную оригинальность, которая существует без предшественников и обходится без последователей. По поводу таких людей обществу трудней всего прийти к согласию, и на их трудах оно всегда будет ставить знак одобрения с наибольшей неохотой».

Что говорить, тема во многом была для меня личной. Измерение, которое в искусстве можно назвать экзистенциальным, для меня было важнее социального. Смешно теперь вспоминать, как, получив когда-то первую Букеровскую премию, я с недоумением уклонялся от интервью на эту тему: поговорили бы лучше о книгах. Оправляя в газету или журнал заказанную мне статейку, просил не сопровождать мою подпись упоминанием «Лауреат Букеровской премии», напишите уж — «автор замечательного романа». Моя литературная судьба может служить подтверждением, насколько я тогда не понимал, не хотел учитывать очевидных для всех вещей.

Дубин мне ответил через несколько дней: «С Вашими соображениями об успехе и неуспехе в литературе и искусстве я в целом согласен, замечу только, что меня эта тема интересует исключительно как социологическая: ориентация на успех в социологии трактуется как отличительная черта так называемых современных (modern) обществ, они поэтому еще называются достижениями или достижительскими (achieving)».

После смерти Дубина его коллега по Левада-Центру Алексей Левинсон написал: «Разработанная им в соавторстве с Львом Гудковым социология литературы видит своим материалом все, что пишется и читается. О том, какие тенденции проступают в этой не лучшей литературе, какие силы начинают себя там выражать, Дубин сообщал с тревогой. Мы не вняли. Теперь они есть, а его нет»... «В этой не лучшей литературе».

А вот что писал несколькими месяцами раньше сам Дубин по поводу смерти Б. Сарнова нашему общему другу Б. Хазанову: «Кто же и что ОСТАЕТСЯ и как все более ограниченно и, увы, слабо это оставшееся меньшинство меньшинства выглядит, звучит, действует. Говорю/пишу эти слова (да я ли один!), сцепив зубы и глядя в надвигающийся, кипящий всеобщим воодушевлением смрадный мрак».